

Викентий Вересаев

# Человек проклят



*Часть сборника  
Живая жизнь*



Живая жизнь

Викентий Вересаев

**Человек проклят**

«Public Domain»

1909

## **Вересаев В. В.**

Человек проклят / В. В. Вересаев — «Public Domain»,  
1909 — (Живая жизнь)

«В душе художника вечная, беспросветная осень. Он как будто с большим только напряжением может представить себе, что есть на свете радостный блеск солнца, синее небо, манящие полусветы ночи. Он мучительно знает, что все это есть, но все это безнадежно далеко. Воспоминания тусклы и безжизненны, как будто он смотрит на них сквозь запотелое от тумана стекло. Только изредка вдруг ярко мелькнет в памяти обрывок образа, – какой-нибудь «лист зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит», – и сердце сожмется в тоске по далекому и недостижимому...»

# Содержание

I	5
II	8
III	11
IV	13
V	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

# Викентий Викентьевич Вересаев

## Человек проклят (О Достоевском)

*Тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще!.. Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!*

*«Кроткая»*

### I

#### «Одни только люди, а кругом них молчание»

Туман, слякоть. Из угрюмого, враждебного неба льет дождь, или мокрый снег падает. Ветер воет в темноте. Летом, бывает, светит и солнце, – тогда жаркая духота стоит над землей, пахнет известью, пылью, особенно летнею вонью города... Вот мир, в котором живут герои Достоевского. Описывает он этот мир удивительно.

«– Любите вы уличное пение? – спрашивает Раскольников. – Я люблю, как поют под шарманку, в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? А сквозь него фонари с газом блистают...»

И так везде у Достоевского. Живою тяжестью давят читателя его туманы, сумраки и морозящие дожди. Мрачная, отъединенная тоска заполняет душу. И вместе с Достоевским начинаешь любить эту тоску какую-то особенною, болезненною любовью.

В душе художника вечная, беспросветная осень. Он как будто с большим только напряжением может представить себе, что есть на свете радостный блеск солнца, синее небо, манящие полусветы ночи. Он мучительно знает, что все это есть, но все это безнадежно далеко. Воспоминания тусклы и безжизненны, как будто он смотрит на них сквозь запотелое от тумана стекло. Только изредка вдруг ярко мелькнет в памяти обрывок образа, – какой-нибудь «лист зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит», – и сердце сожмется в тоске по далекому и недостижимому.

Прямо удивительно, как неузнаваемо тускнеет волшебник Достоевский, когда ему приходится описывать природу радостную и прекрасную.

Свидригайлов последнюю ночь перед самоубийством проводит в дрянненьком номере на Петербургской стороне. Холодно, сыро, ветер бьет в окно брызгами. Навсегда врезывается в память картина холодного отчаяния одинокой человеческой души среди холодного равнодушия бушующей осенней ночи. И вот Свидригайлову снится сон:

«Ему вообразился прелестный цветущий пейзаж: светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, троицын день. Богатый, роскошный деревенский коттедж, в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставлено грядами роз; светлая, прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках» и т. д.

Что это? Да Достоевский ли написал это? Ведь перед нами начало банальнейшего английского романа, сочиненного какою-нибудь мисс или миссис. Вот сейчас по лестнице поднимется благородный Артур и изящно поклонится прелестной Мэри.

Сон Версилова:

«Голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдали, – словами не передашь... О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные, луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей».

Со стеклянными этими описаниями неловко даже ставить рядом описания природы, например, у Толстого или Тургенева. Вот пара строк из небрежного частного письма Толстого: «Гомер только изгажен нашими с немецкого образца переводами. Пошное, но невольное сравнение: дистиллированная вода и *вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она еще чище и свежее*». Ведь вся душа вздрагивает от этой «пошлой» пары строк. А что могут шевельнуть в душе те «прелестные пейзажи», «волшебные панорамы» и «ласковые голубые волны»?

Лексикон Достоевского поразительно богат. Но при описании радующейся природы он как будто теряет собственные слова. Либо «волшебные панорамы» и «ласковые волны», либо еще... цитаты!

Легенда о Великом Инквизиторе: «Настает темная, горячая и *бездыханная севильская ночь*». Воздух *«лавром и лимоном пахнет»*... Юноша Ипполит в «Идиоте» говорит: «Как только солнце покажется и «зазвучит» на небе (кто это сказал в стихах: «на небе солнце зазвучало»? Бессмысленно, но хорошо!), – так мы и спать». И несколько раз он повторяет этот образ: «когда солнце взойдет и «зазвучит» на небе».

Но только вступит Достоевский в область мрака, туманов и дождей, – и чуждый пришелец мгновенно превращается в державного владыку. Каждое слово его звучит здесь властно и самостоятельно; здесь ему не нужны ни «пейзажи» и «панорамы», ни цитаты.

Глядя на радость и ликование природы, самые разнообразные герои Достоевского испытывают странное, самим им непонятное чувство какой-то отъединенности.

Раскольников стоит на Николаевском мосту. «Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Одна беспокойная и неясная мысль занимала теперь Раскольникова исключительно. Ему случалось, может быть, раз сто останавливаться именно на этом самом месте, пристально глядясь в эту действительно великолепную панораму, и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. *Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина...* Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению».

Юноша-нигилист Ипполит («Идиот») пишет в своей исповеди:

«Для чего мне ваша природа, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня счел за лишнего? Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива, а я один выкидыш и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять это!»

Князь Мышкин ходит ранним утром по парку, вспоминает чтение Ипполита. «Одно давно забытое воспоминание зашевелилось в нем и вдруг разом выяснилось. Это было в Швейцарии, в первый год его лечения. Он раз зашел в горы, в ясный, солнечный день, и долго ходил с одною мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслью. Пред ним было блестящее небо, внизу – озеро, кругом – горизонт, светлый и бесконечный. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что же это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать. Каждое утро восходит такое же светлое солнце, каждое утро на водопаде радуга; каждая «маленькая мушка во всем

этом хоре участница: место знает свое, любит его и счастлива»; каждая-то травка растет и счастлива! И у всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос; он мучился глухо и немо; но теперь ему казалось, что он все это говорил и тогда».

Далека от человека жизнь природы; «духом немым и глухим» полна для него эта таинственная жизнь. Далеки и животные. Их нет вокруг человека, он не соприкасается душою с их могучею и загадочною, не умом постигаемою силою жизни. Лишь редко, до странности редко является близ героев Достоевского то или другое животное, – и, боже мой, в каком виде! Искалеченное, униженное и забитое, полное того же мрака, которым полна природа.

Дрянной трактирчик на Петербургской стороне. «Пахло пригорелым маслом. Гадко было. Над головой моей тюкал носом о дно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый» («Подросток»).

Собака Азорка в «Униженных и оскорбленных»: «Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Казалось, она целый день лежит где-нибудь мертвая, и, как зайдет солнце, вдруг оживает».

Перезвон в «Братьях Карамазовых» – «мохнатая, довольно большая и паршивая собака... Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения, как мертвая... Коля, выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг».

Мельком является еще в «Бесах» «скверная, старая маленькая собачонка Земирка», в «Двойнике» – паршивая уличная собачонка. Вот чуть ли и не все животные, которых мы встречаем в чисто художественных произведениях Достоевского.

Правда, есть еще в «Неточке Незвановой» невероятно свирепый и невероятно умный бульдог Фальстаф, есть в «Маленьком герое» столь же свирепый и дикий конь Танкред (который, однако, ухитряется не сбросить с себя взобравшегося на него одиннадцатилетнего мальчика). Но оба животные в этих ранних произведениях Достоевского слишком явно сочинены, слишком художественно мертвы, чтобы брать их в счет. Таких псов и коней можно рисовать, ни разу в жизни не выдавши собаки и лошади, – достаточно только прочесть несколько французских романов тридцатых годов.

Высших животных почти нет вокруг героев Достоевского. Зато в невероятном количестве встают перед ними всякого рода низшие животные, гады и пресмыкающиеся, наиболее дисгармоничные, наибольший ужас и отвращение вселяющие человеку. Тарантулы, скорпионы, фаланги и пауки, пауки без числа. Они непрерывно сняты и представляются чуть ли не всем героям Достоевского без исключения. Как холод, мрак и туманы неодушевленной природы, так эти уроды животной жизни ползут в душу человеческую, чтоб оттолкнуть и отъединить ее от мира, в котором свет и жизнь.

И мир мертвеет для души. Вокруг человека – не горячий трепет жизни, а холодная пустота, «безгласие косности».

«Косность! О, природа! Люди на земле одни, – вот беда! «Есть ли в поле жив человек?» – кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живет вселенную. Взойдет солнце и – посмотрите на него, разве оно не мертвец? *Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание, – вот земля!*» («Кроткая»).

## II

### «Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto»

И одиноко, – сами, как пауки, – сидят люди в глухих углах и смотрят на мир.

Мелкие рассказы Достоевского. Основа всех их одна: в мрачной, безлюдной пустыне, именуемой Петербургом, в угрюмой комнате-скорлупе ютится бесконечно одинокий человек и в одиночку живет напряженно-фантастическою, сосредоточенною в себе жизнью.

«Смеркалось, накрапывал дождь. Ордынов сторговал первый встречный угол и через час переехал. Там он как будто заперся в монастырь, как будто отрешился от света. Через два года он одичал совершенно» («Хозяйка»).

«Жизнь моя была угрюмая и до одичалости одинокая. Моя квартира была моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества» («Записки из подполья»).

И так почти в каждом рассказе... Большие романы, с героями, наиболее близкими душе Достоевского. «Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись... Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу». «Я – человек мрачный, скучный, – говорит Свидригайлов. – Сижу в углу. Иной раз три дня не разговаряют».

Подросток пишет: «Нет, мне нельзя жить с людьми! На сорок лет вперед говорю. Моя идея – угол... Вся цель моей «идеи» – уединение...» Версилов говорит ему: «Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей».

Кириллов в «Бесах» «не склонен встречаться с людьми и мало с людьми говорит». В убогом своем флигельке все ночи до рассвета он ходит, пьет чай и думает. Одиноко и загадочно проходит сквозь жизнь никому не понятный Николай Ставрогин. Одиноко сидит и думает в отцовском доме Иван Карамазов.

Связи с широкою и таинственною жизнью мира в душе человека нет. Нет также в его душе и естественной связи с другими людьми, с человечеством. Труднее всего для этого человека-одиночки вообразить, как можно из себя любить людей или даже просто «быть благородным».

«Да что мне до будущего, – восклицает Подросток, – когда я один только раз на свете живу! Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, *если мне за это – ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига?»*

Человек органически не способен любить людей – это на все лады повторяют разнообразнейшие герои Достоевского.

«По-моему, – говорит Версилов, – человек создан с физической невозможностью любить своего ближнего. «Любовь к человечеству» надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей».

Так же высказываются Иван Карамазов, Настасья Филипповна, многие другие. И уже прямо от себя Достоевский в «Дневнике писателя» пишет: «Я объявляю, что любовь к человечеству – даже совсем немислима, непонятна и *совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой*» (курсив Достоевского).

Раз же нет этой толкающей силы, раз человеку предоставлено свободно проявлять самого себя, – то какая уж тут любовь к человечеству! Нет злодейства и нет пакости, к которой бы не потянуло человека. Мало того, только к злодейству или к пакости он и потянется.

Иван Карамазов утверждает, что «для каждого лица, не верующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному; эгоизм даже до злодейства не только должен быть

дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».

Сдерживать такого человека могут соображения только чисто внешнего свойства – боязнь, например, общественного мнения и т. п. Достоевского чрезвычайно интересует такой вопрос:

«Положим, вы жили на луне, вы там, положим, сделали злодейство, или, главное, стыд, т. е. позор, только очень подлый и... смешной. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?»

Этот вопрос задает Ставрогин Кириллову. Совсем такой же вопрос задает себе герой «Сна смешного человека». В жизни приходится скрывать свою тайную сущность, непрерывно носить маску. Но сладко человеку вдруг сбросить душную маску, сбросить покровы и раскрыться вовсю.

Кладбище. В могилах зеленая вода. Доносятся из-под земли глухие разговоры, «как будто рты закрыты подушками». Это под землю беседуют мертвецы.

«– Господа, я предлагаю ничего не стыдиться!»

– Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! – послышались многие голоса. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

– Ах, как я хочу ничего не стыдиться! – с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

– На земле жить и не лгать невозможно, – сказал барон. – Ну, а здесь мы для смеху будем не лгать. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки и проживем в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся!

– Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса («Бобок»).

Но и ношение маски дает своеобразное наслаждение. Выбрать только маску с выражением поблагороднее и повозвышеннее. Люди с уважением смотрят и не подозревают, что под маскою смеется над ними и дергается бесстыдное дьявольское лицо.

Князь-отец в «Униженных и оскорбленных» рассказывает про одну красавицу графиню. Она была примерно добродетельна, пользовалась глубоким уважением за свою безупречную чистоту, к падшим относилась с жестокостью беспощадной. «И что же? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастье заслужить ее доверенность. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении – была его таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе как о высоком и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний, дьявольский хохот и сознательное попираание всего, чего нельзя попиравать, – вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо-очарователен».

Когда с ближним случается несчастье, то в душе человека закипает хищная радость, – это уже прямо от своего лица Достоевский настойчиво повторяет чуть не в каждом романе.

«Странное внутреннее ощущение довольства всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастье с их ближним; несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия» («Преступление и наказание»). «Вообще в каждом несчастье ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз, – и даже кто бы вы ни были» («Бесы»). «Я был потрясен даже до того, что обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастье, т. е. когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и пр. – даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне горю» («Подросток»).

Поистине, человек – это прирожденный дьявол. «Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto», – заявляет черт Ивану Карамазову. Я – сатана, и ничто человеческое мне не чуждо. Говорит он это по поводу полученного им ревматизма. Но не только подверженность ревматизму, – в человеке вообще нет ничего, что было бы чуждо дьяволу. «Я думаю, – говорит Иван, – что, если дьявол не существует, и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию».

В человеке живет инстинктивная, непреодолимая ненависть и отвращение к гармонии, его тянет к разрушению, к хаосу.

«Как я донес букет, не понимаю, – сказал Версилов. – Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой... Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Я, впрочем, не про то: просто хотелось измять его, потому что хорош».

В душе человеческой лежит дьявол. Великое счастье для жизни, что его удерживает в душевных глубинах тяжелая крышка, которой название – бог.

Федор Павлович Карамазов либеральничает:

«Взять бы всю эту мистику (монастыри), да разом по всей русской земле и упразднить... Чтоб истина скорее воссияла».

Иван возражает:

«Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом... упразднят».

Если сбросить крышку, то в жизни произойдет нечто ужасающее. Настанет всеобщее глубокое разъединение, вражда и ненависть друг к другу, бесцельное стремление все разрушать и уничтожать. Случится то, что грезится Раскольникову на каторге:

«Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Спасти во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса».

### III

## Не забывающие про смерть

В «Дневнике писателя» Достоевский приводит сочиненное им письмо одного самоубийцы, – «разумеется, материалиста» («Приговор»).

«Я не могу быть счастлив, – пишет самоубийца, – даже и при самом высшем и *непосредственном* счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество – обратимся в ничто, в прежний хаос. *А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья* просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием *грозящего завтра нуля*. Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его».

Какие логические доводы можно привести против этого рассуждения? Никаких. Рассуждение вполне правильно. Человек не может не знать, что он умрет, – не завтра, так через сорок лет. Что же это за странная душевная тупость – думать о каком-то счастье, суетливо устраивать мимолетную жизнь, стремиться, бороться, чего-то желать и ждать. Для чего?.. Два только есть логически разумных выхода – либо убить себя, либо последовать примеру пирующих во время чумы: отдаться мгновенным наслаждениям, затуманить мысль о неотвратимом будущем и самозабвенно упиваться

ужасом той мертвой пустоты,  
Которую в моем доме встречаю,  
И новостью сих бешеных веселий,  
И благодатным ядом этой чаши.

Однако люди живут, творят жизнь. И проповедникам тлена стоит больших усилий заставить их очнуться на миг и вспомнить, что существует смерть, все делающая ничтожным и ненужным. В этой странной слепоте всего живущего по отношению к смерти заключается величайшее чудо жизни.

Прометей у Эсхила говорит:

Я смертным дал забвенью смерти.

И хор бессмертных Океанид в изумлении спрашивает:

Но как могли про смерть они забыть?

Этого бессмертным не понять. Не понять, что великая сила жизни делает живое существо *неспособным* внутренне чутя смерть. Только теоретически оно способно представить себе неизбежность смерти, чует же ее душою разве только в редкие отдельные мгновения. «Никто, – говорит Шопенгауэр, – не имеет действительного, живого убеждения в неизбежности своей смерти, ибо иначе не было бы большого различия между его настроением и настроением человека, приговоренного к смертной казни. Напротив, каждый, хотя познает такую необходимость абстрактно и теоретически, но отлагает ее в сторону, как другие теоретические истины, которые, однако, на практике неприложимы, – нисколько не воспринимая их в свое живое сознание».

Бессмертным этого не понять. Не понять этого и слишком смертным, – тем, кто носит в духе своем смерть и разложение. Не понимают и герои Достоевского.

Все они полны смутного, мятущегося ужаса перед уничтожением. Одно напоминание о смерти заставляет их содрогаться.

«В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для Раскольникова было что-то тяжелое и мистически-ужасное с самого детства». «Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней», – сознается Свидригайлов. «Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда-нибудь об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти!» (Лиза, сестра Подростка). «Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно в этом малодушна!» (Катерина Николаевна в «Подростке»). «Я там все храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать!» (Лиза в «Бесах»).

Страх смерти – это червь, непрерывно точащий душу человека. Кириллов, идя против бога, «хочет лишиться себя жизни, потому что *не хочет страха смерти*». «Вся свобода, – учит он, – будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить... Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог».

Но как при таком душевном состоянии возможна жизнь? Достоевский решительно отвечает: невозможна. Как нет *внутри* человека сил, способных поднять его хоть немного выше дьявола, – так нет внутри его и сил, дающих возможность смотреть без непрерывного ужаса в лицо неизбежной смерти. Единственная возможность жизни, это – полное уничтожение смерти, т. е. личное бессмертие. Если же нет людям бессмертия, то жизнь их превращается в одно сплошное, сосредоточенное ожидание смертной казни. «Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его», – пишет самоубийца в «Приговоре».

«Я представляю себе, мой милый, – начал Версиров с задумчивою улыбкою, – что бой уже кончился и борьба улеглась. Настало затишье, – и люди остались *одни*, как желали: великая прежняя идея оставила их, люди разом почувствовали великое сиротство... Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к Тому, Который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в такой мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. «Пусть завтра последний день мой, – думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, – но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их»... О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»

## IV

### «Если бога нет, то какой же я после этого капитан?»

«А что, когда бога нет? – говорит Дмитрий Карамазов. – Тогда, если его нет, то человек – шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я все про это... Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну, это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу».

Мы видели: без бога не только невозможно любить человечество, – без бога жизнь вообще совершенно невозможна. В записных книжках Достоевского, среди материалов к роману «Бесы», есть рассуждение, которое Достоевский собирался вложить в уста Ставрогину:

«Прежде всего нужно предрешить, чтобы успокоиться, вопрос о том: возможно ли серьезно и вправду верить? Если же невозможно, то вовсе не так неизвинительно, если кто потребует, что *лучше всего всех сжечь. Оба требования совершенно одинаково человеколюбивы (Медленное страдание и смерть и скорое страдание и смерть)*».

Человек беден безмерно. Это одинокий беспомощный калека с перебитыми ногами, и бог ему необходим, как костыль. Иначе он сейчас же свалится. Человек лишен всякого живого чувства, свободно идущего изнутри. И не только лишен, – он даже не в состоянии представить себе возможности такого чувства. Ну, а мать, например, – способна ли хоть она-то любить своего ребенка «без санкций»? Право, кажется не удивисься, если где-нибудь найдешь у Достоевского недоумение: «как это мать может любить ребенка своего без бога? Это сморчок сопливый может так утверждать, а я понять не могу».

Се – человеки могучие, слава сынов земнородных.  
Были могучи они, с могучими в битвы вступали.

Эти Гекторы, Диомеды и Ахиллесы боролись и умирали за то, что считали благом целого, при идее такого убогого бессмертия, которое было хуже всякой смерти. И позднейшие греки, создавшие величайшую в мире культуру, были не то чтобы «добродетельны без бога», а гораздо больше: они были *добродетельнее* своих богов, – это отмечают все исследователи греческой культуры. Еще в большей мере приложимо это к древним римлянам. Юпитер ли вдохновлял Гракхов в их борьбе за народ? Что уж говорить о подвигах и жертвах, которыми полна жизнь за последние века! Без санкции люди боролись и гибли, борются и гибнут.

Все это как будто творится в каком-то совсем другом мире – не в том, в котором Достоевский. В его же мире, если нет человеку бессмертия, то есть только взаимная ненависть, злоба, одиночество и мрак. «Самоубийство, – говорит Достоевский, – при потере идеи о бессмертии становится совершенно и неизбежно даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами» (так и сказано!).

Эта слепота Достоевского на все живое слишком ужасна и трагична, чтобы можно было смеяться. И, однако, комично последовательной иллюстрацией к его мысли о невозможности для человека жить без санкции является событие, о котором рассказывает Петр Верховенский в «Бесах».

«– В пятницу вечером я с офицерами пил. Об атеизме говорили и уж, разумеется, бога раскассировали. Рады, визжат. Один седой бурбон-капитан сидел-сидел, все молчал, вдруг становится среди комнаты, и, знаете, громко так, как бы сам с собой: «Если бога нет, то какой же я после этого капитан?» Взял фуражку, развел руками и вышел.

– Довольно цельную мысль выразил, – зевнул Ставрогин.

– Да? Я не понял; вас хотел спросить».

Мы, может, тоже бы не поняли. Но, подготовленные Достоевским, мы понимаем, – и понимаем, что это действительно весьма даже цельная мысль.

## V

### «Смелей, человек, и будь горд!»

В сумеречной глубине души человеческой лежит дьявол. Ему нет воли. Его держит заключенным в низах души тяжелая крышка – бог. Дьявол задыхается в глубине, рвется на волю, просит жизни. И все очевиднее становится для человека, что это душа его просит воли, что рвущийся из-под крышки дьявол – это и есть он сам.

Что же делать? «Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!» Нужно только дерзнуть, нужно только сбросить крышку – и будет свобода. Встанет придавленный дьявол, размнетя и поведет человека. Наступит цельная жизнь и яркое счастье, – пускай страшная жизнь, дьявольское счастье, но жизнь и счастье.

Человек из подполья пишет: «С чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила, к чему бы ни привела».

«Если нет бога, – говорит Кириллов, – то вся воля – моя. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что своевольничал с краю, как школьник. Неужели никто, кончив бога, не осмелился заявить своеволие в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался, и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть».

И вот люди начинают заявлять своеволие, начинают проявлять свое самостоятельное хотение.

Самостоятельное хотение, раз сброшена с души упомянутая крышка, – это, конечно, что-то глубоко отъединенное от всего в мире, идущее исключительно в собственное я человека. Раскольников говорит: «Трудолюбивый народ социалисты и торговый; «общим счастьем» занимаются. Нет, мне жизнь однажды дается и никогда ее больше не будет; я не хочу дожидаться «всеобщего счастья». Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить». В чем же жизнь? «Свобода и власть, главное – власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!.. Кто крепок и силен умом и духом, тот над людьми и властелин. Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!»

Чтобы доказать себе, что он «смеет», Раскольников убивает старуху процентщицу. «Я не человека убил, я принцип убил... Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; *для себя убил, для себя одного...* Мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая, или право имею?»

Оказалось – тварь дрожащая. Проявить «самостоятельное хотение» до конца Раскольников не посмел. Сам идет на раскрытие своего преступления, по-ребячески задирает Заметова и Порфирия, раскидывает на себя сети и беспомощно запутывается в них. С презрением, с отвращением к себе за свою слабость он идет каяться, доносит на себя, отправляется на каторгу.

Раскаяния никакого Раскольников не испытывает, и вовсе не мучения совести заставляют его сознаться в преступлении, – это великолепно показал Мережковский. Перечитываешь «Преступление и наказание» – и недоумеваешь: как могли раньше, читая одно, понимать совсем другое, как могли видеть в романе истасканную «идею», что преступление будит в человеке совесть и в муках совести несет преступнику высшее наказание.

«Я сейчас иду предавать себя. *Но я не знаю, для чего я иду предавать себя*, – говорит Раскольников. – Преступление? Какое преступление? – вскричал он в каком-то внезапном бешенстве. – Не думаю я о нем, и смывать не думаю! Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия, теперь, как уж решился идти на этот ненужный стыд! Просто от низости и бездарности моей решаюсь!»

И с усмешкою дьявола он думает: «А любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать – двадцать лет так уже смирится душа моя, что с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя ко всякому слову разбойником?.. Каким же процессом может это произойти? И зачем, зачем же жить после этого?»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.